

СРЕДИ СТИХОВ

(Статья 4-я)

Николай Браун — «Морская слава», М., Военмориздат, 1945.
 Леонид Мартынов — «Лукоморье», М., «Советский писатель»,
 1945. Александр Яшин — «Земля богатырей», Л., «Молодая гвар-
 дия», 1945. Степа Шипачев — «Домик в Шушенском», М.,
 «Советский писатель», 1945.

В одном из стихотворений А. Яшина рассказывается, как отряд морской пехоты совершил вылазку, чтобы отбить у немцев школьную библиотеку, — так красноармейцы стосковались по книгам. Им удалось захватить книги Горького, и вместе с ними «окружать врагов, уничтожать, шло и его собрание сочинений».

Эпизод этот очень характерен. Слово в дни войны было подлинным оружием, и в истории мировой литературы нельзя найти примера, хоть сколько-нибудь приближающегося по своему исключительному размаху к тому, с которым наша литература, и в частности поэзия, служила делу защиты страны. В момент боя, подчас в трудную минуту, слово поэта действовало не только благодаря своей непосредственной художественной силе, но и потому, что оно было неразрывно связано с конкретной ситуацией, с определенным человеческим обликом данного героя, которого подчас лично знали участники сражения. И они вкладывали в произведение и свой пафос, свой эмоциональный подъем.

Сейчас в нашей поэзии начинается своеобразный процесс «отстаивания», «оседания» поэтического материала. Часть его приобретает значение исторического документа, отражающего те или иные настроения и события периода войны. Он сыграл свою роль и заслуживает и уважения и высокой оценки. Но вне той живой обстановки, в которой он создавался и звучал, вне аудитории, обогащавшей его своим пафосом, окажется, что он теряет ту художественную убедительность, которая продлевает самостоятельное существование произведения. Самостоятельное существование выпадет на долю только тех произведений, которые по глубине обобщения, по силе выражения мысли и чувства оказались более стойкими. В этом процессе «естественного отбора» поэтических произведений эпохи войны нет ни-

чего, если так можно выразиться, предосудительного для тех стихотворений и поэм, за которыми сохранится лишь документальное значение. Они были нужны и полезны, они сохраняют историко-литературный интерес, но полновесного эстетического ощущения не вызывают.

Сейчас как раз и начинается этот процесс отбора. Выходят книжки стихотворений, в которые поэты включают свои произведения военных лет, книжки, каждая из которых представляет собой своеобразную поэтическую летопись войны. Понятно стремление поэта дать наиболее полное представление о его работе за время войны, но понятно и право читателя еще раз взвесить отобранное поэтом, как бы он ни был строг к себе.

А. Сурков, например, в свою книгу «Песни гневного сердца», являющуюся одной из наиболее значительных за последние годы, включил далеко не все из тех двенадцати его книжек, которые вышли за время войны. И все же, если бы книга была сокращена, и сокращена весьма и весьма значительно, она бы только выиграла, хотя и выпущена поэтом с двадцатилетним опытом работы в области поэзии и человеком, разносторонне и полно вобравшим в себя военный опыт этих лет.

Это «отстаивание» поэтического материала, накопившегося в дни войны, поучительно и потому, что позволяет ощутить, — что же определяет его стойкость, почему одни стихотворения остаются жить в последующие годы, а другие не могут сделать этого шага в будущее.

Вот перед нами книга Н. Брауна «Морская слава». Н. Браун — опытный поэт, честно потрудившийся в дни войны. В кратком предисловии, которое издательство предпослало его книге, отмечено, что творчество Брауна «тесно связано с жизнью и героической деятельностью Краснознаменного

Балтийского флота: Н. Браун в тяжелое время блокады Ленинграда являлся постоянным сотрудником газеты «Красный Балтийский флот». Поэт своим оружием — словом, принимал деятельное участие в борьбе с немецкими захватчиками.

В книге собраны стихи за 1941—1944 годы, они говорят о событиях, значительность которых не требует пояснений: о Ленинградской блокаде, об Одессе и Севастополе, о Таллине. Нельзя упрекнуть поэта в пренебрежении к стихотворной форме: стих его хорошо организован, четок и звучен.

И в то же время, закрывая книгу Брауна, не чувствуешь внутреннего обогащения ею. К тому, что известно читателю и перечувствовано им, она не добавляет виденного автором. Все, о чем говорится в книге,—верно, со всем мы согласны, но в то же время мы в ней не чувствуем в полной мере той индивидуальности поэта, которая придает его словам неповторимое своеобразие, художественную конкретность и убедительность. Перед нами стихи, в которых не всегда есть поэзия.

Нам не забыть, как мы стояли
На рубежах своей земли,
Как мы дрались тогда за Таллин,
Как шли в атаку корабли...
В дыму разрывов меркли дали,
Бомбежек вой стоял в ушах,
И клятву родине мы дали,
Что не отступим ни на шаг.

Здесь все на месте, нет только поэта: он не показал живых людей, событий, деталей, не раскрыл своих переживаний, ими вызванных, он только в самых общих чертах обозначил при помощи своего рода поэтического пунктира и ситуацию, и действия, и людей. Но пунктир этот в состоянии наметить и сам читатель, а от поэта он ждет линий и красок, которых в книге Брауна мало.

Плеханов говорил когда-то, что поэт не доказывает, а показывает. У нас сейчас многие литераторы упростили это положение: они и не доказывают, и не показывают, они просто называют то, о чем хотят рассказать. Как во времена Шекспира зритель видел на сцене дощечку с надписью, обозначавшей, что перед ним лес, так мы подчас читаем романы с надписью: «Здесь — характер советского офицера», или стихи с обозначением пере-

живания, которое должна вызвать данная ситуация. Вот это художественное упрощение,—подмена конкретности риторикой,—и дает себя знать в книге Брауна. В свое время — в боевой обстановке — те общие формы, в которых он откликнулся на данные события, звучали, вызывали в аудитории достаточный отклик, а вне этой аудитории они оказались недостаточно художественно емкими и, называя чувства поэта, не передают их читателю. Вот стихотворение «Балтийские орлы»:

Шумит на ветру величаво
Овеянный доблестью флаг,
Далеко разносится слава
О наших балтийских орлах.
Они под грозой не дрожали,
Их крылья не знали преград,
В сраженьях за Эзель и Таллин,
В боях за родной Ленинград.

Балтийцы и те живые чувства, которые вызывали они в поэте — свидетеле их подвигов, опять-таки только названы Брауном.

Вот стихи, говорящие о первом налете на Севастополь в ночь на 22 июня 1941 года.

Был час тишины и покоя,
Но дрогнула звездная тьма,—
И бомбы тяжелые, воя,
На мирные пали дома.
Прожекторы били лучами,
Зенитная встала стена.
Над городом, над кораблями
Ударила громом война.

Снова перед нами пунктир. Подлинное содержание стихотворения, которое, так сказать, имело быть написано поэтом, осталось где-то между строк, лишь называющих то, что должно быть показано конкретно: ужас внезапного налета, гнев, возмущение, мужество наших людей.

Этот своеобразный гипноз общих мест, традиционных, громко звучащих, но мало конкретных фраз не позволяет Брауну овладеть тем материалом, которым он на самом деле располагает и о котором, несомненно, может выразительно и сильно рассказать. Риторика, к большому сожалению читателя, вытесняет из его книги поэзию. Она была поэтична, эта риторика, в момент ее возникновения, это и ввело в соблазн автора. Но поэтичность эта была нестойкой, и сейчас стихи, включенные в книгу «Морская слава», мы читаем с ува-

женем, но без художественного интереса к ним.

Показательно сопоставление с книгой Брауна книги А. Яшина «Земля богатырей». У Яшина меньше литературного опыта. Он уступает Брауну в стихотворной технике. Вдобавок он неудачно построил свою книгу, включив в нее свои довоенные стихи и не датировав стихи второго раздела. При более строгом отборе книга была бы меньше, но более цельной и законченной. И все же лучшие стихи Яшина затрагивают читателя гораздо острее, чем стихи Брауна. Это происходит потому, что Яшин в тех случаях, когда он преодолевает искушение злого духа риторики, также часто не дающего ему покоя, находит живые и в то же время характерные подробности боев, умеет показать в стихах свою собственную индивидуальность.

Поэтическое дарование Яшина отличают эличность, умение видеть людей, запоминать детали, придающие стихам осязаемость, конкретность, действенность.

Бронекатер, выводящий на Волге из-под огня корабль на буксире, трижды перебиваемом вражескими снарядами, и командир его, зажавший в зубах «давно не дымившую трубку», матросы, которые «второпях своим телом пробойны закрывали», — это живая, а не риторическая картина, рисующая русских людей в бою так, что они остаются жить в памяти читателя.

Запомнится картина встречи адмиралом возвращающегося из боя краснофлотского отряда, в котором было триста штыков:

Видать, его сердце сжалось:
Он молча шагнул к ним,
Он все уже знал,
Но все-таки вздрогнул, когда
увидал,
Что девять их только осталось.

Лаконично и, верится, что точно рассказал Яшин о походе под обстрелом противника катера, груженого снарядами для Сталинграда.

Есть у Яшина и еще одна хорошая черта — своеобразный интеллектуализм его лирики, умение найти неожиданную сторону в изображаемом и выразить ее скупой и лаконично, иногда с юмором. Такая авторская усмешка, пробивающаяся вдруг в очень трудной обстановке, опять-таки

согревает стихотворение, делает его близким читателю. Идет обстрел Ленинграда, падают статуи, и Яшин мимоходом замечает —

Шарахаются бронзовые люди,
Живой проходит, не оборотясь.

Или о пленных немцах, которых ведет по Сталинграду моряк:

Их мало жечь.

Но свят закон солдата:

Давай им хлеба, мяса и воды.

Моряк отводит дуло автомата

Чтоб,— не дай бог,— не натворить
беды.

Этот жест моряка, как и недымящаяся трубка в зубах капитана, определяет подлинную поэтичность стихотворения, его жизненную убедительность.

В этих стихотворениях ценность книги Яшина, хотя, как говорилось, он загрозил своей книге лишними стихами, в которых дают себя знать его слабые стороны: многословие, склонность к вычурности, риторичность. Непонятно стихотворение «Тетерева», в котором фашистский снайпер, сидящий на дереве, зачем-то токует, выдавая свое местопребывание, и дает автору свалить его с дерева метким выстрелом.

Очень странное впечатление производит такое обращение к милой:

Неприветлива, дика,
С ночи не расчесана,
Словно дочка лесника,
Ходишь по полю босая.

Вряд ли нужны в стихах такие подробности, как, например, прелые портянки, такие слова, как «одомашнивать» быт и т. п.

Часто очень упрощает Яшин то, что хочет сказать. Рисуя жизнь до войны, он говорит: «В кино опоздаем — на сутки горе», а в обращении к подруге заявляет:

Ты и Россия для меня одно...
Ты спину перед недругом не гнешь,
Как и Россия, не кицишься славой.

При всем уважении к адресату, имя, отчество и фамилия которого указаны в посвящении стихотворения, такое отождествление представляется далеко недостаточно обоснованным.

Все эти примеры, как и очень многие, подобные им, свидетельствуют о том, что Яшину надо затратить еще очень много сил для того, чтобы его

поэтический голос не срывается. У него есть главное — глаза, которые умеют хорошо видеть, ум, обобщающий виденное, но еще нет той бесспорности поэтического выражения, которая свидетельствует о зрелости мастера.

Ощущение именно этой бесспорности возникает у читателя, как только он открывает книгу Л. Мартынова «Лукоморье». Мартынов выработал свою поэтическую интонацию еще до войны. Его «Поэмы», выпущенные «Советским писателем» в 1940 году, доказали, что даже четырехстопному ямбу — размеру, который насчитывает уже более двухсот лет и является наиболее употребительным в русской поэзии, можно придать новое звучание. Ослабляя междустроичную паузу при помощи длинной строки, включающей две-три обычных строки, наращивая одинаковые рифмы, Мартынов достиг большой синтаксической свободы стиха, позволяющей строить гибкую и разнообразную фразу:

Они палят. А с дальних гор,
от смеха прикусив губу,
Лихой джигит глядит в упор
на пушечную стрельбу
через подзорную трубу.

Приобретенная в Китае труба
имеет золота драконовидную
резьбу.

Вот эта необычность и чистота поэтического голоса Мартынова привлекает нас в «Лукоморье», наряду с основной темой книги, которую можно определить, как тему высокой человечности.

В лирическом герое «Лукоморья» Мартынова есть что-то от романтичности Дидея-птицелова Э. Багрицкого. Он разговаривает с деревьями, он играет на флейте, и люди идут за ним в сказочное «Лукоморье». В первый раз в жизни встречает он женщину в доме скучного художника, и вот она уже уходит с ним.

Подсолнух!
Из чужого огорода
Вернулся ты
В родимые поля!

Сначала он кажется несколько странным — герой «Лукоморья».

Замечали —
По городу проходит прохожий!
Вы встречали —
По городу ходит прохожий,
Вероятно, приезжий, на нас
не похожий?

Поведение его необычно:

— Как ваше здоровье, —
спросил я, — деревья?
Деревья молчали вначале.
Скучали? Презреньем встречали?
Едва ли.
Они тосковали.
Вдруг скрипнула ива:
— Здорова!
И сосны ворчливо:
— Мы живы!

Он странствует по реке Тишине, он все спрашивает — «Но где же оно, Лукоморье? Где оно, Лукоморье?»

Но вот, говоря с деревьями, он скажет мимоходом:

Вы часто, деревья, в печач
пламенили:
Но я вам сказать без смущенья
осмелюсь, —
И сам я горел, чтоб другие
согрелись!
И я топором был под корень
подрублен,
Но не был погублен, я не был
погублен!
И сам я летел оперенной стрелюю.

Лукоморье Мартынова — это страна сказочного счастья, которая оказывается и Доном, и Уралом — любым куском земли, где живет русский человек, борющийся за свое счастье и свободу. Так романтика и сказочность книги Мартынова, придающие ей такой своеобразный колорит, сливаются с жизнью, получают глубокое реальное содержание. Но вот что странно: как только Мартынов отходит от своих излюбленных тем, его богатый и полный поэтический голос вдруг гложет, меняется, теряет и свободу и своеобразие. В стихах на военные темы Мартынов почти неузнаваем, ему изменяет точность языка, не помогают и излюбленные им повторы:

От Эгейских теплых вод
И до Альп, что в снежном
мраке,

Вурдалаки! Вурдалаки!
Упыри,
Моги царя!
Их осинovým колом
Протыкали по поверью.
Это было. Но — в былом...
Вурдалацкую имперью
Уничтожит гнев людской,
Стая снова не слетится,

Тот кошмар не возвратится,
Шевеленье прекратится
Под могильною доской!

Ты на нас пошел войной,
Вурдалак, гадючье око!
Прямо в грудь нам, вор ночной,
Впился жалом ты глубоко!

Этот упырь, почему-то вооруженный жалом, «имперья», «шевеленья под доской» и пр.— просто несоизмеримы с тем, что мы знаем о Мартынове. Или такая тирада:

Тевтон на Волге!
Думал он
Казань завоевать.
Наверно, норовил тевтон
И дальше побывать—и т. д.

Почему же перед нами в пределах одной небольшой книги такие разительные противоречия, настоящее, густое, оттоенное мастерство уже зрелого поэта и — рядом с ним — надуманные, посредственные стихи? Ответ ясен. Если содержанию поэзии Яшина зачастую еще не хватает мастерства, то мастерству Мартынова не хватает содержания. Он создал свой, очень узкий круг образов, перевел его в романтически-сказочный (или как раньше — в исторический) план и для него нашел краски и линии ясные, и отчетливые.

Но стоит ему выйти за этот круг, как выясняется, что для более широкого содержания ему не хватает голоса. И это лишает пока творчество Мартынова того большого значения, которое оно могло бы иметь.

Одним из немногих произведений последних лет, в котором это соотношение мастерства поэта и задач, которые он поставил перед собой, получилось в достаточной мере полное разрешение, является поэма С. Щипачева «Домик в Шушенском».

Уже много лет Щипачев работает над своей основной темой — раскрытием внутреннего мира советского человека с его новым отношением к жизни, с новым решением, казалось бы, вечных лирических тем: любви, старости, смерти. Не случайно накануне войны лирика Щипачева в осо-

бенности привлекала к себе внимание читателей и критики. Стремление Щипачева передать самые интимные чувства человека определяло и его поэтический стиль: сжатый, афористический, богатый выразительными деталями. Некрасов когда-то писал:

Стих, как монету, чеканя,
Строго, отчетливо, честно;
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям — просторно.

Эти слова могут быть поставлены в качестве эпиграфа к поэме Щипачева. О ней уже говорилось в нашей прессе, нам важно здесь подчеркнуть, что удача Щипачева — это удача мастерства, подчиненного задаче выражения большого содержания. Чувствовать так, как чувствует герой поэмы Щипачева, может только советский человек, выросший в советской стране, воспитанный партией, ощущающий свою судьбу, как судьбу всего народа, всей страны:

Еще я только что на свет родился,
А он уже решал судьбу мою —

говорит Щипачев о Ленине, раскрывая эту кровную связь человека и народа, человека и партии, выражающей помыслы и чаяния народные. И для выражения этих больших чувств Щипачев сумел найти и выразительные детали и яркие поэтические формулировки, которые делают его поэму ошутимой, рельефной, художественной, убедительной. Ленин, который смотрит в двадцатый век «сквозь выюги девятнадцатого века», когда еще ничего не знают о своем будущем мальчики — Чапаев и Киров, юноша Сталин, идущий по Тбилиси, чтобы встретиться с Лениным и стоять с ним «в тысячелетях рядом», — все это найдено и выражено с подлинной поэтической силой, потому что здесь мастерство поэта оказалось на уровне его кругозора. В этом отношении удача Щипачева глубоко поучительна, особенно в свете опыта тех поэтов, о которых мы говорили выше.